

УДК 930.2

**«ТЕПЛЫЕ ДИНОЗАВРЫ»: НЕПРИСТОЙНЫЕ ОБРАЗЫ АКАДЕМИЧЕСКИХ  
АВТОРИТЕТОВ В ДИСКУССИЯХ КОНЦА XIX И КОНЦА XX в.**

© 2013 г.

*Е.Е. Савицкий*

Российский государственный гуманитарный университет, Москва

savitski.rggu@gmail.com

*Поступила в редакцию 15.12.2013*

В 1991 году историк средневековой литературы Р.Х. Блок публикует в журнале «Репрезентации» статью, в которой, не стесняясь, описывает свое непристойное наслаждение от работы с частными архивами французских историков и филологов конца XIX века. На основе этого казуса в статье ставится вопрос о том, какое значение могли иметь подобные демонстрации обесцененного личного опыта в интеллектуальном контексте эпохи, как они влияли на понимание устройства академического сообщества и на представления о допустимости или недопустимости определенных исследовательских практик. Особое внимание при этом уделяется преемственности между дискуссиями о национализме и об «истории частной жизни» в гуманитарных исследованиях рубежа 1980–1990-х годов.

*Ключевые слова:* филология, историография, непристойное, новый историзм, новый медиевализм, лаканианство.

Когда три года назад на нижегородской конференции «Национальный/социальный характер» обсуждалась судьба западных дискуссий о национализме 1980-х гг. (Геллнер, Андерсон, Хобсбаум и др.), то одним из очевидных их продолжений виделось противопоставление в историографии 1990-х годов «государственного» видения прошлого и «истории частной жизни». Доминирующим образам истории государств и наций противопоставлялась такая история, которая делает частное не менее важным и достойным объектом исследования. Как предполагалось, такие изменения в понимании прошлого должны были повлиять и на политическую культуру современности. Незамеченными в том разговоре остались важные отличия, которые есть в трактовке темы «частной жизни» у разных авторов, из-за которых «частная жизнь» способна обретать принципиально иные значения.

В качестве примера я хотел бы рассмотреть статью американского филолога и историка филологии Р.Х. Блока, опубликованную в 1991 г. в новоисторицистском журнале «Репрезентации» и посвященную одному из основателей истории французской средневековой литературы Гастону Парису (1839–1903) [1]. Статья является как раз продолжением более ранних исследований Блока о национализме французских историков и филологов рубежа XIX и XX веков, но одновременно посвящена «истории частной жизни», и в ней хорошо видно, как именно одна проблематика

может переходить в другую. Блока прежде всего интересовало, в какой степени институционализация филологии во Франции в эпоху Третьей республики была связана с националистическим соперничеством Франции и Германии и как это соперничество привело к тому, что изначальный дух филологических исследований, связанный с проектом общей лингвистики и литературной герменевтики, оказался сведен к техникам установления, датирования, идентификации и локализации текстов. Таким образом, целью Блока было показать, каким образом осознание филологом и историком своей принадлежности к сообществу «нации», становление националистических идеологий в XIX веке, влияло на понимание сути исследовательской работы, и этот интерес Блока не был чисто историческим, ведь речь шла о техниках анализа, которые во многом до сих пор являются базовыми при работе с источниками, на этих техниках строится филология как научная дисциплина; и в то же время эти самые основы филологии оказываются имплицитно проникнутыми духом националистического соперничества, оказываются вовсе не нейтральными инструментами, а частью идеологии, чья тень встает за всяким использованием этих как бы сугубо технических исследовательских процедур. И вопрос, следовательно, в том, какими могут быть сегодня история и филология, если лишить их этого имплицитного националистического наследия. Размышляя над этим вопросом, Блок и ряд его других коллег делают, таким образом,

круг через интеллектуальную историю XIX века, обращаясь к таким фигурам, как Поль Мейе, Мишель Бреаль, Леон Готье, Жозеф Бедье и особенно – Гастон Парис.

В своей статье Блок поначалу никак не объясняет, как связан его интерес к «большой семье» национализма с исследованием «малой семьи» частной жизни, он просто напоминает в начале о своих более ранних работах, а затем переходит к рассуждениям о том, как интересно было бы узнать, что делали эти знаменитые люди в часы, когда они не искали и не издавали рукописи, не обсуждали занятие вакантных профессур, не участвовали в заседаниях Института надписей или Французской академии и не читали лекции в Школе хартий или в Коллеж де Франс. Блок считает необходимым извиниться за этот нескромный интерес к частной жизни ученых, но он оправдывается тем, что к этому времени уже появилось несколько работ французских авторов, где подобное внимание к частной жизни ученых вполне оправдало себя: это книги Франсуа Артога о Фюстеле де Куланже, Винсента Кауфмана об эпистолярной культуре в XIX в. и особенно «Похвала вариативности: критическая история филологии» Бернара Серкилиньи [2, 3, 4].

Об этой последней книге, опубликованной незадолго до написания статьи Блока, стоит сказать несколько подробней. В этой книге Серкилиньи, среди прочего, проводит параллели между организацией работы филологов и буржуазной семейной жизнью в XIX веке. Как он пишет, «филология – это буржуазная, патерналистская и гигиенистская система понимания семейных связей; она заботится о филиациях, выявляет супружеские измены, боится заражения. Это образ мысли, основывающийся на определении того, что не следует делать (вариативность понимается как девиантное поведение), и именно это служит основой для позитивной методологии» [4, р. 49]. Серкилиньи имеет в виду здесь рукописные тексты и способы обращения с ними, особенно в традиции Карла Лахманна, который стремился найти, а при необходимости даже воссоздать, изначальный, чистый вариант текста, который бы прочно реконструировался на основе филиаций имеющихся рукописей и был бы свободен от «порчи» позднейшими переписчиками. Вариативность при этом служила «уликой», позволяющей разобраться в многообразии вариантов. Так, Лахманн учил, что переписчики не могут совершать одну и ту же ошибку дважды, и если она повторяется, то это значит, что одна рукопись происходит от другой или они обе – от третьего испорченного варианта (хотя, как замечает Серкилиньи, любой школьный учитель скажет, что

ученики могут делать общие характерные ошибки). Ошибка – это, по преимуществу, унаследованная ошибка, которая позволяет установить родство и, таким образом, выстроить генеалогическое древо. Именно это древо, располагающее рукописи в строго иерархическом порядке, позволяет путем сравнения «неиспорченных» частей прийти к оригиналу, к первоначальному тексту. История текста, таким образом, представляла собой хорошо организованную систему семьи с предпочтением старшинства и пр. При этом заведомо предполагалась упадочная тенденция – что позднейшие варианты текста хуже, слабее изначального. Как отмечает Серкилиньи, Лахманн не допускал возможности, что переписчик, столкнувшись с неясным местом в рукописи, мог «открыть» изначальное понимание текста или как-то иначе улучшить более ранний текст. Переписчик в понимании Лахманна превращался в «машину», которая должна была работать заведомо плохо, чтобы избыточное множество вариантов в итоге позволило исследователю выявить «измены» в рукописных текстах и уже на этом основании прочертить четкие генеалогические линии. Именно такая борьба с избытком позволяет говорить о «буржуазности» семейных отношений – так же, как незадолго до этого о том же писал Фуко в первом томе «Истории сексуальности», где он показывал, как стремление «викторианской» культуры контролировать сексуальность порождало свой неподконтрольный избыток, который в итоге делал эту борьбу безнадежной. Таким образом, для Фуко, который тут во многом следовал Лакану, избыточность не является чем-то внешним; она – обратная сторона «нормального», «благопристойного» порядка, который именно этой избыточностью и поддерживается («объект а» Лакана и др.). Таким образом, уже у Серкилиньи практики академической филологии, стремившейся к большей строгости знания, уподобляются более широкому контексту социальных отношений, в особенности семейных [4, р. 49]. Обо всем этом Серкилиньи пишет в главе, озаглавленной «Гастон Парис и динозавры». Образ гигантского диплодока возникает в связи с огромными «скелетами» изначальных текстов, собираемых последователями Лахманна из фрагментов самых разных рукописей, подобно тому, как по множеству отдельных фрагментов палеозологи реконструируют одного целого динозавра. Именно Гастон Парис ввел этот считавшийся передовым научный метод выстраивания филиаций во Франции в конце 1860-х годов.

У Серкилиньи, однако, эти параллели с семейной жизнью выглядят во многом случайными и метафоричными, возникшими мимоходом в

связи с рассмотрением лахманновской методологии и ее рецепции во Франции. Блок не только существенно расширяет предложенные Серкилиньи семейные аналогии, но и предлагает обратить внимание на характер внесемейных дружеских отношений между мужчинами в XIX веке, а также на внесемейные отношения мужчин и женщин – в частности, женщин как (не)возможных коллег и читательниц/слушательниц. Чтобы получить такую более нюансированную картину отношений между учеными того времени, Блок обратился к их частным архивам, которые хранятся в Национальной библиотеке в Париже, в частности к обширным собраниям писем. Так, например, Поль Мейе пишет Гастону Парису о Леоне Готье, на смерть которого они отозвались возвышенными некрологами: «Жалко беднягу Готье, но ничего, мы быстро найдем ему замену. Он все равно не читал нужных нам методологических и научных курсов, постоянно забредал в какие-то сюжеты за пределами дисциплины и его круга познаний и в то же время пренебрегал подлинной наукой палеографии, то есть историей вариаций и трансформаций письма». Блок признается, что начав читать это письмо, не смог не прервать тишину Зала рукописей удовлетворенным восклицанием: «Вот оно лицемерие, крошечное за непроницаемо благовидной внешностью этих профессоров!» [1, р. 66]. Это восклицание оказывается центральным моментом в тексте Блока.

Мы видим здесь историка и филолога конца XX века, с радостью обнаруживающего «грязный секрет» своих предшественников, почтенных отцов научной филологии. Откуда это чувство удовлетворения? Почему Блок не стесняется в нем признаваться, хотя оно, по сути, не менее непристойно, чем цинические высказывания Мейе? Не охотится ли тут исследователь за дешевыми скандалами? Блок, очевидно, не стесняется этой обценной стороны своей собственной работы и нарочито ее выставляет. Более того, такая непристойность в 1980-е годы стала чем-то вроде теоретической программы новых исследовательских направлений. Достаточно вспомнить здесь классические работы Р. Дарнтон (многие из которых публиковались в том же журнале «Репрезентации»), где предлагалось подглядеть за классиками французской литературы глазами полицейского инспектора (эти писатели-взяточники, сутенеры, доносчики и т.п.), где мы могли заглянуть на книжные полки уважаемых деятелей эпохи Просвещения и найти там рядом с философскими книгами самую жестокую порнографию, где не без тайного удовольствия бесконечно перечисляются все те изуверские ритуалы, жертва-

ми которых могли быть кошки и другие животные – им, оказывается, предавались те, кого более ранняя историография считала наиболее грамотными представителями передового рабочего класса. Это публичное наслаждение непристойностями рассматривалось при этом не как издержки открытия нового материала, а как шаг в освобождении историографии от ряда политических и эпистемологических ограничений. Именно то, что историк отказывается подавлять в себе такое наслаждение, и позволяет ему предаться изучению этих материалов, чего не позволяли себе эмоционально более строгие старшие коллеги. Обновление историографии как исследовательской практики оказывается непосредственно связано с изменением отношений внутри академического сообщества, где непристойности освобождаются из «клозета» (Ив Кософски Сэджвик – еще один автор «Репрезентаций», и ее «Эпистемология “клозета”» или «чулана», как переведено в русском издании, была опубликована в 1990 году, за год до статьи Блока) и становятся принятым элементом академического общения. Тут можно увидеть продолжающееся влияние общего «духа 1968 года», с его требованием освобождения чувственности и удовольствий, и целый ряд видных историков в то время высказываются на эту тему. В то же время здесь была важна и идея демократизации историографии, причем не только внутренней, в том что касается отношений между коллегами, но и внешней – большей открытости читателям, которые не должны видеть в историке неприступного учителя, производящего нормативное и трудно воспринимаемое знание в виде монографий. Одновременно с Блоком, Дарнтон в книге «Поцелуй Ламуретта» (снова непристойность, вынесенная в заглавие – напоминание об эпизоде Французской революции, когда одного из королевских чиновников заставили целовать насаженную на пикку отрезанную голову другого королевского чиновника) выступал за то, чтобы историки стремились заинтересовать читателя, сделать свои труды более легко читаемыми и привлекательными, чтобы их начали читать те, кто их никогда раньше не читал. Демократический идеал требует не элитарности, а всеобщей коммуницируемости и доступности научного знания [5].

Таким образом, в рассуждениях Блока о письме Мейе к Парису можно увидеть нарочитую скандальность, которая должна увлечь читателя – ведь это только одно из первых случайно попавшихся писем, дальше мы еще не то найдем! Одновременно, однако, сам историк отказывается от «возвышенной» позиции холодного, бесстрастного исследователя и не только дает

волю своим эмоциям, но и сообщает об этом читателю, делится с ним и эмоциями тоже. В итоге, академическая иерархия нарушается дважды: не только профессор Блок обменивается непристойными анекдотами со своими читателями/студентами, но и сами Поль Мейе с Гастоном Парисом выступают такими непристойными отцами, которые обмениваются друг с другом замечаниями о коллегах. Утверждавшийся ими образ строгой науки и холодно-рассудительных коллег постепенно релятивизируется, и что важно, это устройство научного сообщества видится непосредственно определяющим устройством собственно научных исследовательских практик – что оказывается допустимым и недопустимым в научной работе, вроде упомянутых Полем Мейе отступлений Леона Готье за пределы строго дисциплинарных границ.

Исследование непристойностей, однако, и в более строго научном смысле развивает предложенную Серкилины проблематику «семейного романа» филологии, ведь со времен Фрейда стало очевидно, что семейные отношения необходимо рассматривать не только с внешней, «благопристойной», стороны, но и с другой, не так охотно признаваемой, которая, однако, оказывается ключом к пониманию первой, с ее проблемами и извращениями. Поэтому кроме скандально-демократического мотива для цитирования письма Мейе нужно увидеть и этот второй, связанный с сугубо исследовательской логикой (или пристойную сторону непристойного, такое обратное переворачивание, с примечательной амбивалентностью в этом отношении исследования в целом): вопрос в том, как и с чего нам следует начать изучение отношений в академической среде. Что на основе чего должно прочитываться. Примечательно поэтому, что даже опубликованные рецензии Мейе Блок в своем исследовании прочитывает сквозь призму этой скрытой непристойности, видя в безжалостности его оценок отражение тех циничных отзывов, которые давались в частных беседах.

Исследование «непристойной изнанки» оказывается способным показать, как сделана «пристойная» сторона исследований, и это, так же как и в теории Фрейда, служит проблематизации границ между допустимым и недопустимым, принятым и нежелательным, в том числе и в академических практиках поведения. В то же время непристойное и отвратительное у Фрейда, и особенно у Лакана, оказывается оборотной стороной самого объекта желания. Отвратительное и непристойное амбивалентно. И вероятно, именно в этом смысле рассуждает далее Блок, который от непристойностей Мейе, от вызывающего отвра-

щение непрофессионализма французских филологов вроде покойного Готье, переходит к тому, что служило образцом, тем идеалом, исходя из которого формулировалась такая критика. А образцом была, как известно, германская филология, восприятие которой, понятно, было неоднозначным. Здесь как раз смыкается у Блока проблематика частной жизни и национализма. С одной стороны, именно в научных навыках виделась основа победы немцев в войне 1870 года, и Блок усматривает параллели между тем, что Мейе писал о Готье, и тем, что он писал о состоянии Франции в начале 1870-х годов. При этом и сам Готье подчеркивал, что в лице немцев мы имеем дело с людьми, которые воюют так же, как они занимаются критикой источников, с той же точностью и методичностью. Готье сожалел, что в одном Марбурге рыцарским эпосом занимается больше исследователей, чем во всей Франции [5, р. 67]. Чтобы исправить такое положение, во Франции в конце 1870-х гг. создается полторы сотни новых кафедр филологии и истории с соответствующими библиотеками, создаются новые филологические и исторические журналы, но важно то, что само это желание исправить положение и стать не хуже немцев было связано как раз с националистическим желанием оспорить немецкое превосходство, с враждебностью в отношении немцев, с испытываемой к ним неприязнью. Не менее сильным, однако, было и неприятие работ более старшим поколением французских исследователей, при этом своеобразным лакановским «объектом а», неприемлемым избытком, оказывался романтизм, рассматривавшийся во Франции как немецкое заимствование, от которого необходимо избавиться, чтобы сделать обращение со средневековыми текстами сугубо научным. Из работы с текстами необходимо было изгнать все, что не относилось к позитивным научным методам (именно это звучит в замечании Мейе о «бедняге Готье»).

Такой поворот к науке среди французских исследователей Средневековья воспринимался многими современниками еще и как поколенческий конфликт, и, как отмечает Блок, это особенно заметно в случае Г. Париса, который не только сделал больше других для основания научной дисциплины, но сменил своего отца на кафедре в Коллеж де Франс, где Парис начал преподавать в 1866 году. В своей инаугурационной речи Г. Парис критиковал увлечение отца романтизмом вместо строгого изучения текстов. Там, где поколение Паулина Париса (отца Гастона) искало удовольствия от прошлого, более молодое поколение считало допустимым только строгий науч-

ный анализ. Стало ненужно давать оценки литературному качеству произведений прошлого или говорить, насколько вдохновляюще они на нас действуют, теперь надо было стремиться к «пониманию» источников и их исторической интерпретации. Еще одним предметом упреков со стороны Гастона было то, что его отец довольствовался лекциями перед любительской публикой (которая приходила послушать его публичные лекции в Коллеж де Франс), в то время как Гастон считал необходимым адресовать лекции прежде всего профессионалам. Если отца заботило соответствие лекций хорошему вкусу, благорасположенность слушателей из числа «светских людей», «дилетантов» и, по словам Гастона Париса, «даже женщин», то для сына гораздо важнее было освоить хорошую методологию исследований [5, р. 69]. Таким образом, как отмечает Блок, французские исследования Средневековья, по мысли Париса, должны были быть секуляризованы, профессионализованы и маскулинизованы – что подразумевало подавление удовольствий, которые связывались с романтическим и с женским, и чему на смену должно было прийти мастерство в научном анализе текстов.

Блок видит тут взаимосвязь между устройством научного сообщества и теми концепциями прошлого, которые оно создает, а самая известная концепция, созданная Г. Парисом, – это теория куртуазной любви. Блок находит в теории Париса целый ряд противопоставлений, которые характерны для понимания Парисом и современного ему научного сообщества. Так же как романтическому наслаждению прошлого противопоставляется умеренное удовольствие от его исследования, так же и в куртуазной культуре чувства подчиняются точно отмеренным правилам поведения. Так же как Парис хочет изгнать всякую поэзию из отношений к прошлому, так же и куртуазная любовь оказывается строгой наукой со своими правилами (как их описывал Андрей Капеллан в конце XII в.). Парис стремился к тому, чтобы науки стали делом профессионалов, а не развлечением для широкой публики, и это подразумевало, в частности, исключение из поля филологических исследований женщин, и точно так же поэзия трубадуров для Париса оказывается преимущественно мужским занятием, связанным с ученой культурой стихосложения, и поклонение реальной даме, не говоря уж о настоящей любви, было для этой поэзии не так важно. Сообщество куртуазных поэтов представляется Парису таким же мужским союзом, каким виделось ему и устройство современного медиевистического сообщ-

ества (см. об этом также [6] и [7]). Концепция Париса разделяется многими исследователями до сих пор.

Было бы, однако, неправильно прочитывать эти рассуждения Блока просто как признание роли телесности, частной жизни, как указание на гендерную дискриминацию в науке и т.п. Введение темы непристойности опыта самого исследователя самым радикальным образом меняет всю картину либеральных ценностей «частной жизни» и, прежде всего, делает ее предельно двусмысленной. Мы одновременно и возмущаемся непристойностью старой филологии, и (в образе Блока) тайно наслаждаемся ею; непристойности (сексизма, национализма и пр., что теперь само превратилось в избыток, «объект а») оказываются тем, что должно быть изгнано, но одновременно ими и поддерживается функционирование нормального, «пристойного» порядка филологии и исторических исследований. Таким образом, здесь можно заметить ту же появившуюся в начале 1990-х гг. амбивалентность в трактовке темы национализма, что и в постколониальных исследованиях того же времени, о которых говорилось на конференции «Национальный/социальный характер» [8, р. 71–72].

#### Список литературы

1. Bloch R.H. «Mieuxvautjamaisquetard»: Romance, Philology, and Old French Letters // *Representations*. № 36. Fall 1991. P. 64–86.
2. Hartog F. *Le XIX siècle et l'histoire: Le cas de Fustel de Coulanges*. P.: Seuil, 1988. 400 p.
3. Kaufman V. *L'équivoqueépistolaire*. P.: Minuit, 1990. 199 p.
4. Cerquiglini B. *In Praise of the Variant: A Critical History of Philology*. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1999. 112 p. (Parallax: Re-visions of Culture and Society.)
5. Darnton R. *The Kiss of Lamourette: Reflections in Cultural History*. N.Y.: Norton & Co, 1990. 393 p.
6. Hult D. *Reading It Right: The Ideology of Text Editing // The New Medievalism* / Ed. M.S. Brownlee, K. Brownlee, S.G. Nichols. L., Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1991. P. 113–130.
7. Hult D. *Gaston Paris and the Invention of Courtly Love // Medievalism and the Modernist Temper* / Ed. R.H. Bloch, S.G. Nichols. L., Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996. P. 192–225.
8. Национальный/социальный характер: археология идей и современное наследие: Материалы всероссийск. науч. конф. М.: ИВИРАН, 2010. 309 с.
9. Bloch R.H. *Naturalism, Nationalism, Medievalism // Romanic Review*. Vol. 76. 1986. P. 341–360.
10. Gumbrecht H.U. «Un souffle d'Allemagne ayant passé»: Friedrich Diez, Gaston Paris, and the Genesis of National Philologies // *Romance Philology*. Vol. 40. 1986. P. 1–37.

**«WARM DINOSAURS»: OBSCENE IMAGES OF ACADEMIC POWER IN THE DISCUSSIONS  
OF THE LATE 19<sup>TH</sup> AND 20<sup>TH</sup> CENTURIES**

*E.E. Savitskiy*

In 1991 R.H. Bloch, a historian of medieval literature, openly described in an article he published in the "Representations" the obscene pleasure of working with the private archives of some late-19th century French literary historians. This case of R.H. Bloch serves as a departing point for questioning on how such displays of obscenity should be understood in the intellectual context of the time, and of what impact they had on the functioning of academic community, on definitions of acceptable and unacceptable scientific practices. Particular attention is given to the continuity between the nationalism-debates of the 1980s and the "history of private life" of the 1990s.

*Keywords:* literary studies, historiography, obscenity, new historicism, new medievalism, Lacanianism.